18+

Мистическая Москва

Сборник рассказов



Вадим Краснощёков

Вадим Краснощеков

Мистическая Москва. Сборник рассказов

«Издательские решения»

Краснощеков В. М.

Мистическая Москва. Сборник рассказов / В. М. Краснощеков — «Издательские решения»,

Москва — город с двойным дном, где за парадными фасадами веками скрываются мрачные тайны. На экскурсиях гиды часто упоминают городских призраков лишь вскользь, спеша за графиком. Эта книга — первое подробное расследование изнанки столичной мистики, где каждая история воссоздана до мельчайших жутких деталей.Автор не умалчивает подробности, а восстанавливает хронику роковых событий, диалоги и судьбы тех, кто столкнулся с чертовщиной. Узнайте, что происходит в столице, когда гаснут фонари.

© Краснощеков В. М.
© Издательские решения

Содержание

Бес Игнатий 6
Ветка белой сирени 12
Рана, зашитая чужой плотью 15
Конец ознакомительного фрагмента. 17

Мистическая Москва
Сборник рассказов

Вадим Михайлович Краснощеков

© Вадим Михайлович Краснощеков, 2026

ISBN 978-5-0071-5588-5
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Бес Игнатий



В тишайшее царствование Алексея Михайловича Романова, в самой что ни на есть благочестивой Москве, случилась напасть. Не где-нибудь в слободках за Яузой, не где-нибудь в Вязьме, а в самом что ни на есть богомольном посаде, на Куличках — месте древнем, но низком и сыром, в котором туманы с Москвы-реки стелятся по оврагам, словно белесые, неупокоённые души. Здесь, между торговых рядов, что пахнут дегтем, кожей и воском, у стен белокаменных церквей и в переулках, где избы жмутся друг к другу под тесовыми кровлями, завелся бес. Не призрак, а наглый такой, рукоприкладствующий хулиган.

Была Москва того времени городом резких противоречий в котором золоченые маковки сорока сороков церквей сияли над морями черных, поскрипывающих на морозе бревенчатых крыш. От боярских палат несло медом и воском, а от простых дворов кислой капустой и дымом. На рассвете кричали петухи, звонили к заутрене, а днем площадь у Лобного места гудела, как растревоженный улей: торговали, спорили, молились, пьянствовали в кабаках. И в эту пеструю, шумную жизнь вползла липкая, необъяснимая пакость.

Сперва подумали на вора или на лихого человека. У купцов на Зарядье с лотков будто невидимой метлой сметало товар. Дорогие венецианские зеркала бились о мостовую, бухарские ковры падали в грязь, а туеса с ценным царским медом лились липкой золотой рекой между торопливых ног смешиваясь с грязью. Потом принялся бес за духовный люд, иноков из Богоявленского монастыря, идущих стройной черной вереницей. Он хватал их за рясы да с такой силой дергал, что они, и молодые, и старые, летели кубарем в весеннюю, непролазную хлябь. Но гнуснее всего были его утехи с женским полом. Он будто шальной ветер поднимал подолы у жен и девиц, обнажая их ноги, и при этом раздавался не воздушный свист, а сдавленный, похабный хохот, словно из-под земли. Да и запах вокруг стал вдруг не весенней талой землей, замешанной с конским навозом, к каковому тут все были привычны, а приторно душным горелой шерстью да тухлым болотным газом, от которого во рту мигом становилось горько, как от полыни. Собаки, коих в посаде держали для сбережения амбаров, первыми почуяли неладное. Псы не лаяли, не бросались, а робко забивались под крыльца домов, и выли там глухо, утробно, прижав уши, и лапами морды закрывали, будто видели то, чего человеческому глазу разглядеть не дозволено.

Апофеозом же стали кощунства в храмах. Во время всенощной, когда в молельном сумраке, пронизанном лучами лампад, лился строгий знаменный распев и лица молящихся, от мала до велика, были обращены в едином порыве к алтарю, — раздавался голос. Сперва никто не понимал, откуда он исходит. Казалось, что звук рождался в самих ушах, внутри головы, глухой и зудящий, словно туда залетела жирная лоснящаяся муха. Лился строгий знаменный распев, но едва дьякон возглашал: «Миром Господу помолимся…", как этот невидимый гад перебивал его, передразнивая густым, утробным басом. Иерей отец Симеон, муж твердый и в постах истончавший, замирал с кадилом в дрожащей руке. Раскаленные угли в серебряном нависающем сосуде сыпали искрами, а священник бледнел лицом, покрываясь крупным, ледяным потом, ибо сквозь хохот невидимого гостя слышал он такие тайны прихожан, о которых те лишь на исповеди, захлебываясь слезами, шептали уткнувшись лицами в епитрахиль.

Голос этот возникал то из темного угла у печки, то с самих хор, будто слетая вороном с черных стропил. Голос сиплый, пьяный, обрывистый, точно у человека, которого долго топили в ледяной проруби. Он выкрикивал скабрезные скоморошьи прибаутки, вторил священнику похабными рифмами, шептал на ухо самым богобоязненным старухам скверные слова, от которых те падали в обморок, словно подкошенные.

Весть, шипящая и страшная, как искра по бечёвнику, дошла до государя. Алексей Михайлович, человек до мозга костей богобоязненный и видящий в царстве своем мистический смысл, ужаснулся. «Сие не просто бесовские игрища», — сказал он в узком кругу доверенных бояр в иконописной кремлевской палате. — Сие — посягательство на саму святость Москвы, Третьего Рима. Еретики пакостили тайно, а сей — открыто глумится. Велю найти и

скрутить!» Бояре безмолвствовали. Государь же долго после того не мог успокоиться и велел затеплить все лампады в опочивальне, приказал духовнику читать псалмы над ухом до самой полуночи, но сна так и не было. Царю чудилось, будто в углах палаты, за тяжелыми парчовыми занавесями, кто-то мелко и гадко хихикает, а набожный Третий Рим на глазах превращается в вертеп, где бесы попирают царский венец. И повелел царь спешно, на переменных лошадях, доставить из монастыря Пресвятой Богородицы, что в Красных Фролищевых горах, иеромонаха Иллариона слава о котором как о великом постнике, провидце и изгонятеле нечисти ходила по всей Руси.

Старец прибыл в Москву тихо, на закате, когда над городом вставала багровая, тревожная заря. Был он невелик ростом, сух, как гриб-сморчок, лик его — испещрен морщинами, а глаза — спокойные, глубокие, цвета озерной воды. Не заходя в Кремль, он три дня скитался по Куличкам, сидел на завалинках, слушал бойких торговок, заходил в кабаки, где от взгляда его трезвели самые отпетые бражники. Он прикладывал ладонь к стенам храмов и к сырой земле, будто слушал биение сердца этого места.

На третий день, когда зашел старец в тупик за суконными рядами, воздух вокруг него вдруг сделался густым, точно кисель, и пахнуло ледяным овражным смрадом. Чья-то невидимая, тяжелая ладонь легла Иллариону на плечо, пытаясь придавить сухонького монаха к грязной земле, а в ухо зашептало, захлебываясь слюной: «Уходи, старик, уходи, защекочу до смерти, по косточкам разнесу!». Но Илларион лишь прикрыл глаза, сотворил крестное знамение в пустоту и тихо молвил: «Знаю тебя». Невидимая хватка тут же ослабла и со свистом унеслась под крышу амбара, оставив на плече рясы серый след, похожий на плесень.

На четвертую же ночь попросил Илларион оставить его одного в храме Всех Святых, что и был очагом самых мерзких хулений. Тяжкая то была ночь. В кромешной тьме запертого храма, где горела лишь одна свеча у иконы Спаса, невидимый бесновался вовсю. Он швырял в алтаре тяжелые богослужебные книги, выл по-волчьи под куполом, оборачивался то огромной черной кошкой с горящими человеческими глазами, то окровавленным мертвецом. Старец же, не поднимаясь с колен, до кровавого пота молился, сжимая в руке кипарисовый крест, пока дух, обессилев к первым петухам, не затих в углу, злобно поскуливая.

Наутро келейники нашли Иллариона в холодном приделе. Он сидел на аналое, и казалось, что годы за одну ночь придавили его еще больше.

«— Этот бес не из падших духов», — сказал Илларион тихо, смотря в заиндевевшее оконце. — Этот дух местный, проклятый, приросший к сей земле. Зовут его Игнатий. Был он парень как парень — удалой, горластый, но до вина и драк охочий. Мать, вдова, одна его поднимала. Он же последнее из дому таскал, в пьяном угаре руку на нее поднимал, а когда, обобрав дом до нитки, ушел в запой на неделю, мать, в последней своей горькой обиде, прокляла его при соседях: «Чтоб тебе, исчадие, и после смерти места не было! Ни в земле сырой, ни на небесах!» Он в ту же ночь в овраге мертвым найден был. Отринули его проклятого небеса, вот и бродит он тут, где кости его лежат, злобствуя на весь род человеческий, а пуще всего — на мать, что от любви и отчаяния такое слово молвила». Царь, выслушав, повелел начинать изгнание немедля. Не в большой соборной церкви, а в той самой, маленькой и старой, где дух был сильнее всего.

Чистый четверг выдался хмурым, с мокрым снегом. Москва затихла, постным дымком тянуло из труб. А в церкви началась великая брань, незримая для внешнего глаза. Недели две, день и ночь, не умолкала там молитва. Илларион с двумя келейниками, отцом Никодимом и отцом Афанасием, сменяя друг друга, читали Псалтырь, служили молебны. К исходу первой седмицы келейники едва держались на ногах от истощения. Сон их, чуткий и короткий, на голых досках притвора, превратился в пытку. Им обоим снились одни и те же кошмары, будто их заживо засыпают сырой землей, а сверху кто-то заливисто хохочет и испражняется на их свежие могилы по большому и малому. Голоса у иноков сели, превратившись в сиплый шепот,

губы трескались до крови, но Илларион не давал пощады. Сам он, казалось, и вовсе перестал спать и есть просфоры — единственная пища которую он себе позволял; лик его потемнел, вытянулся, став похожим на сухой липовый лик со старой, потемневшей иконы.

Сперва было тихо, потом начались знаки. Воск от свечей не капал, а свивался в черные, зловонные шарики, падавшие на камень с мягким стуком. От образов в темноте стало веять не благодатью, а холодом, словно от раскрытой зимней могилы. По ночам в алтаре слышалось шуршание, будто кто-то водил по престолу грязной ручищей.

На исходе второй недели явился и голос. Сперва — шепот из-за печки, где сушились дрова, словно сквозь сон: «Устали, чернецы… Спать уже ступайте… Холодно же…». Илларион не прерывал чтения. Голос окреп, стал наглым, визгливым, каким бывает у парня, издевающегося над слабым: «Что, старче, горлышко не пересохло? Попей кваску!» И с полатей, где никто не стоял, на ступеньки аналоя шлепнулась вонючая, темная жижа. Отец Афанасий побледнел, но удержался. Илларион лишь перекрестил воздух перед собой.

И тогда бес обрел плоть. Воздух в центре храма, перед амвоном, начал мутнеть. Не темнеть, а именно мутнеть, как вода в болотной заводи. Из этой дрожащей, плотной мути потянуло запахом — не серой, а прелой листвой, дешевым хлебным вином и чем-то невыразимо тленным. В самой сердцевине этого болотного марева начали проявляться очертания. Это не было человеческое тело, но угадывался силуэт долговязого, неестественно изогнутого парня в разодранном кафтане, у которого руки свисали почти до самого пола, оканчиваясь длинными, дрожащими тенями вместо пальцев. Вместо лица у морока то топорщилась косматая борода, то проступал голый череп, а сквозь зыбкую пелену тускло, как гнилушки в ночном лесу, горели два немигающих, налитых желчью глаза. И из самой гущи этого марева родился голос, теперь уже объемный, влажный, будто говорящий прямо в ухо.

— Ладно, ладно, молитесь! Я послушаю. А то скучно мне тут одному-то. Вы зрелище хоть какое-то, как медведи ученые на цепи.

Илларион, не отрывая взгляда от строк, но каждый его палец, лежащий на книге, был бел от напряжения, произнес: — Душа, ты несчастная, Игнатий. Зло! Вот твоя цепь. Отпусти ее, покайся!

— Покайся? Ха! Перед кем? Перед матерью, что меня прокляла? Вот пусть она и кается! Мне то что, я веселюсь! Я юбку бабе задрать — задеру, купца обворовать — обворую! Я сильнее вас, червей книжных! Чуешь, как я воздух давлю?

И вправду, давление воздуха в церкви возросло. У отца Никодима заложило уши, тонкое пламя свечи припало к фитилю, вытянувшись в синюю иглу. По стенам поползли тени — не от огня, а сами по себе, угловатые и резкие. Игнашка, почуяв силу, завыл, и от этого воя затряслись стекла в свинцовых переплетах окон. Отец Никодим не выдержал — упал на колени, зажимая уши окровавленными пальцами, и из носа у него побежала струйка темной крови. Невидимые вихри сорвали тяжелую крышку с купели, и она с грохотом покатилась по плитам. Книгу в руках Иллариона повело в сторону, страницы бешено зашелестели, будто их рвал ураганный ветер, а полупрозрачные, темные руки беса потянулись из мути прямо к горлу старца, обдавая его лицо ледяным, могильным дыханием.

Илларион продолжал беседу с демоном: — Давишь пустотой? Да потому что ты и есть пустота, Игнашка. Проклятие съело тебя всего, осталась одна злоба да обида. Они и есть твоя суть ныне. Имя Господа нашего Иисуса Христа жжет тебя, как раскаленное железо?

В мутной дрожи что-то судорожно дернулось. Раздался звук — не шипение, а скорее, противный чавкающий хруст, будто кости ломали в месиве грязи.

Бес прошипел: — Не тронь! Не смей! Ох, горит… все горит изнутри…

Мутное марево посреди церкви закрутилось бешеным волчком, вытягиваясь к куполу. Сквозь него проступали черные, иссохшие жилы, которые лопались с сухим треском, брызгая вокруг ледяными искрами. Стены древнего храма застонали, по вековой побелке змеями

поползли трещины, осыпаясь известковой пылью на головы замерших от ужаса келейников. Казалось, невидимый Игнашка в безумной агонии пытается ухватиться за сами камни, вывернуть их из фундамента, обрушить своды на головы своих мучителей, лишь бы заставить старца умолкнуть. Но Илларион стоял прямо, и крест в его руке сиял в полумраке, точно бледная, но неотвратимая утренняя звезда.

Илларион продолжал: — Имя Пресвятой Богородицы, Матери Заступницы, Которую ты бесчестил в Ее доме? Назови её имя, бес!

По церкви пролетел вихрь, но не воздушный, а вязкий и смрадный. Он погасил половину свечей сразу, беззвучно и быстро, и вмиг стало темно и холодно. В темноте голос Игнашки взвыл. В этом вопле была уже не просто злоба, а дикая, детская, бесконечная боль.

— Молчи! Заткнись! Я тебя… я всех вас здесь заморожу! Я Москву-реку вспять поверну! Я сильный! Я…

Илларион встал и в кромешной тьме его фигура вдруг показалась не стариковски хрупкой, а стойкой, как древний дуб. Он не закричал, но его голос наполнил собой все пространство, каждый камень, каждую щель, звуча медью всех московских колоколов разом: Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа! Дух скорби, дух пустоты, Игнатий! Не как врага тебя гоню, а как плененного брата жалую! Отпусти! Отцепись! Не цепляйся за свою пустоту! Господь милосерден ко всякому страданию! Даже к твоему! Мать твоя давно тебя простила! Три дня я ходил по Куличкам, Игнашка, и у каждого забора слышал я стон ее неприкаянный. На краю оврага, где кости твои в безвестной могиле гниют, земля до сих пор ее горькими слезами пропитана. Перед смертью своей, захлебываясь кровью в пустой избе, молила она Пречистую Деву воротить назад ее глупое, страшное слово, из самого сердца в гневе вырванное. Нет на тебе больше материнского проклятия, сыне! Смыто оно, растоплено слезами ее покаянными, одни лишь твои собственные узы тебя здесь держат! Прости и ты себя, несчастный! Уйди!

И в последнем слове была не власть, а такая бездонная, страшная жалость, от которой содрогнулся бы и камень. И с этим словом в церкви что-то надломилось. Не физически, а в самой ткани реальности. Раздался не вопль, а стон — долгий, раздирающий, полный все той же боли, но уже без злобы. Стон, перешедший в сдавленный, детский плач, в одно-единственное, сорвавшееся в предрассветной тишине слово: «МАМА»

И тишина. Не просто отсутствие звука, а тишина наполненная, легкая, как после грозы. Давление спало, огарок единственной свечи, что не погас, вспыхнул ровным, теплым, золотым пламенем. И в тот же миг удушливый, гнилостный смрад прелой листвы и дешевого вина, терзавший церковь две недели, исчез, уступив место едва уловимому, благостному аромату весенней талой воды, ладана и цветущей вербы. Тяжкое, давящее марево рассеялось без следа, и сквозь свинцовые переплеты высоких окон в храм хлынули первые, чистые лучи восходящего солнца. Они ложились на каменные плиты золотыми полосами, в которых мирно и тихо кружились пылинки, словно и не было здесь только что страшной битвы за заблудшую душу.

Отец Никодим, весь мокрый от холодного пота, прошептал, вытирая лицо: «Отошел?»

Илларион, внезапно снова ставший дряхлым стариком, опустился на колени, уронив голову на сложенные на коленях руки. «Отошел. Нашел дорогу из своего одиночного заточения».

***

Но дух Игнашки, даже обретя покой, не мог не сделать последней, мелкой, по-хулигански пакостливой выходки. В ту самую ночь, когда все было кончено, над сонными Кулишками пронесся короткий, яростный и совершенно безумный короткий вихрь. Он не тронул ни одной крыши, не закрутил ни одной юбки, не сломал ни одного забора. Он будто сжался у основания колокольни церкви Всех Святых и толкнул ее изо всей своей оставшейся, уже беззлобной, силы.

Наутро люди, выйдя к заутрене, ахнули. Торговцы, едва успевшие отпереть суконные амбары, застыли с замками в руках. Бабы-молочницы крестились, роняя наземь корзины, а мальчишки-посыльные со свистом сбегались со всех переулков. Звонница стояла покосившись, будто пьяная, упираясь своим острием с деревянным крестом в серое московское небо. Казалось, она замерла в нелепом, вечном поклоне, устав и подчинившись законам земной тяжести. Так она, чуть кривая, но уже не зловещая, а скорее печально-укоризненная, стоит и поныне как немой памятник и страшной силе материнского проклятия, и еще более страшной силе всепрощающей молитвы, что может найти дорогу даже в самое затерянное, озлобленное сердце.

Государь Алексей Михайлович, узнав о чудесном избавлении посада, восславил Бога. Он велел щедро наградить спасителей и выслать в монастырь на Красные Фролищевы горы тридцать сороков соболиных шкур, бочки с ценным церковным вином и тяжелые кованые чаши из царской сокровищницы. Самого же Иллариона царь звал к себе в палаты, желая обнять святого мужа и получить его благословение. Но старец от наград отказался, а к царю выйти не смог, ибо силы оставили его в тот самый миг, когда колокольня церкви Всех Святых дала свой знаменитый крен.

Через два дня после этих событий иеромонах Илларион умер в своей келье, куда его бережно перенесли верные духовные чада. Все то время, что оставалось ему на этом свете, до упокоения, он лежал без движения на топчане и смотрел в темный свод потолка. Лицо его было удивительно светлым, словно с него стерлись все морщины, накопленные за долгую и суровую жизнь земного богомольца. На рассвете третьего дня, когда над кремлевскими стенами только загорались золотые маковки соборов, старец тихо вздохнул. Ничего не ел и не пил, и только шептал сухими губами: «Прости Господи раба твоего неразумного Игнатия». С этим последним вздохом изнуренная душа великого праведника улетела ввысь, ведя за собой к престолу Создателя и ту, другую — спасенную им из вечной тьмы.

Ветка белой сирени

Деревня Никулино стояла не в глуши, а на старом Боровском тракте — жильной артерии, связывавшей западные рубежи с каменной Москвой. Оттого жизнь здесь била не тихим сельским ключом, а мерным, предсказуемым пульсом дороги. Звуки Никулино — это перезвон колокольчиков под дугой почтовой тройки, скрип телег и протяжные оклики. И всегда, фоном — шум пути, то отдалённый, как шелест леса, то близкий и оглушительный. Запахи — этот сложный букет дыма берёзовых поленьев из труб, кисловатого дыхания квашни, сладкого духа скошенного сена, дегтя, и вездесущий, въедливый запах пыли и конского пота. В этой деревне время текло иначе. Оно мерилось не часами, а циклами: от восхода до заката, от Благовещения до Покрова, от пахоты до жатвы. Жизнь была тяжела, проста и ясна: земля, семья, труд. И дорога — как неизбежность, как граница и как возможность. Именно здесь, на этом разломе между патриархальным укладом и наступающим веком машин, между тишиной полей и рокотом тракта, и зародилась история Серафимы — история любви, разлуки и вечного ожидания на обочине времени.

Имя Серафима данное ей при крещении, означало «пламенная», и жизнь в маленькой деревеньке недалеко от Москвы, горела в ней тихим, тёплым светом. Свет этот был в её руках, ловко управлявшихся с тестом и прялкой, в её голосе, когда она пела на деревенских посиделках, и особенно — в глазах, когда она смотрела на него.

Того, на кого она смотрела, звали Алексей — молодой инженер с горящим взором и стальным немецким циркулем в кармане френча. Он приехал из Москвы, чтобы строить новую дорогу. Они встретились в начале старого тракта, когда он деловито давал распоряжения подсобным рабочим, она пришла с лукошком кваса и хлеба. Смеялись, заговорили. Его городская мечтательность столкнулась с её земной мудростью, и между ними вспыхнуло то самое пламя. Любовь их была стремительной и чистой, как летний ливень. Он рисовал её словами — рассказывал о море, которого она никогда не видела. Она дарила ему запах свежего хлеба и твёрдую уверенность, что дом — это там, где тебя ждут. Прощаясь, Алексей оставил ей на память тот самый циркуль: «Сбереги, Сима. Дострою мост через Волгу в Твери — и заберу тебя в новую жизнь». А пока деревня Никулино, рассечённая гудящей дорогой, продолжала жить своей жизнью.

Серафима ждала. Сначала ждала писем, потом ждала вестей о завершении работ в Твери, а потом поняла, что ждёт ребёнка. В её письмах к Алексею появилась новая, трепетная нота: «Алёшенька, у нас будет сын или дочка. Но я чувствую — сын. Он будет сильным, как ты, и не будет бояться никаких дорог».

Алексей ответил одним письмом: «Жди. Скоро приеду. Мост почти готов». И пропал. Позже до Никулино дошли слухи: кто-то клялся, что видел его в Санкт-Петербурге с другой женщиной, кто-то говорил, что он уехал за границу, в Пруссию, за лучшей долей. Серафима никому не верила. Она верила в жизнь внутри себя и продолжала ждать.

Сын родился в мае, когда цвела сирень. Она назвала его Егорушкой. Маленький теплый комочек, пахнущий молоком, стал её вселенной. Вся нерастраченная любовь, вся надежда на Алексея переплавились в безграничную нежность к этому существу. Она жила для него и жила дорогой, по которой однажды должен был приехать его отец.

Москва подступала к деревне Никулино все ближе, новый тракт с каждым годом становился оживлённее. Наряду с ломовыми конными телегами на дорогах все чаще стали появляться новые грузовики М24—35 рижского автомобильного завода Руссо-Балт. Они мчались, не сбавляя хода, разбрызгивая грязь на покосившиеся заборы. Деревня была рассечена надвое, и переход через дорогу превратился в смертельную лотерею.

В тот вечер Егорушка плакал — резались зубки. Серафима, измученная бессонными ночами, качала его, но плач не утихал. В доме кончилось целебное маковое молочко, а бабка-знахарка жила через дорогу. Стоял густой туман, накрапывал дождь. Она завернула сына в свой большой белый платок с вышитыми сиреневыми веточками — единственную нарядную вещь, оставшуюся от девичества, — и, прижимая к груди, вышла в белёсую муть.

Туман поглощал звуки. Она долго вглядывалась в его пучину, прислушиваясь к рокоту моторов. Уловив затишье, шагнула на полотно. Серафима не услышала, как из мглы вынырнула тёмная громада — грузовика с прицепом. Фары не пробивали туман. Усталый водитель увидел белую тень в последний миг.

Был глухой удар и тишина. А потом — пронзительный детский плач из придорожной канавы. Сирень на платке смешалась с алой краской, став чудовищным букетом. Серафима не успела даже испугаться. Последним, что она почувствовала, было тепло маленького тела, выскользнувшего из ослабевших рук.

Егорушка выжил. Его нашла старушка, вышедшая на плач. Но для Серафимы этого мира больше не существовало. Душа её, оторванная в миг высочайшего материнского напряжения, не смогла уйти. Она осталась на краю дороги, в точке разлома между жизнью и смертью, любовью и предательством, надеждой и отчаянием.

Прошли десятилетия. Избы Никулино сровняли с землей, на их месте выросли бетонные соты Олимпийской деревни, а тракт оделся в многополосный асфальт. Но Серафима осталась тут. Она стала Белой Женщиной Никулинской улицы. Её призрак в мокром белом платке стоял на обочине. В пустых глазницах горел не огонь мести, а бесконечный ужас и вопрос: «Где мой ребёнок?» Сначала она ждала Алексея. Потом стала выходить на дорогу, пытаясь остановить несущиеся огни — а вдруг в одной из машин её сын?

***

Из рассказов водителей:

Владимир, дальнобойщик (1998 г.): «Ехал под Калугу, ночь, ливень. Вижу — девка в белом голосует. Притормаживаю, стекло опустил, а она — раз! И прямо перед капотом. Я рванул в сторону… Очнулся, кабина смята. Говорю: „Где девушка?“. Мне люди светят фонарями — никого. Только лужа на асфальте и в ней ветка сирени. В ноябре-то. С тех пор на том участке только на третьей передаче езжу и крещусь.»

Олег, бизнесмен на «Мерседесе» (2008 г.): «Не спал двое суток, летел в Москву. На пассажирском сиденье вдруг внезапно баба — бледная, мокрая, в белом. Шепчет: „Ты его не видел? Моего Егорушку?“ Вздрогнул, машину повело на встречку. Чудом пусто было. Запах потом неделю стоял — мокрой земли и сирени.»

Галина, таксист (2020 г.): «Везу девчонок из клуба, треш, орут, музыка на всю. Устала я. Решила объехать пробку на МКАДе по Никулинской. Смотрю в зеркало — сзади на сиденье ещё одна пассажирка. Вся белая, лицо как мел, на руках свёрток. Обернулась — никого. Снова в зеркало — качает головой. Я тихо: „Извините, ради Бога…“ Музыку выключила, попросила всех пристегнуться и потише. Они притихли. И тут перед нами „бэха“ резко перестраивается и уходит под грузовик. Треск страшный. Мы бы в него влетели, если б не сбросили скорость. На следующий день на заднем сиденье нашла засушенный лепесток сирени.»

***

Слухи о Белой Женщине с Никулинской улицы докатилась до всех уголков страны. Её видели на тёмных развязках, в тумане над Москвой-рекой, в слепых зонах зеркал в час пик. Она уже не была привязана к одному месту, она ищет. Однажды ночью старый таксист ехал без пассажира по Мичуринскому проспекту в сторону Никулинской улицы и увидел знакомый леденящий силуэт на обочине. Он не стал уворачиваться, а напротив остановился, опустил стекло и тихо-тихо, с деревенской певучестью, сказал в промозглую тьму: — Серафима… Успокойся, родная. Жив твой Егорушка. Внуки у него, и правнучка Симочка подрастает. Сын

твой инженером-мостовиком стал, мосты по всей стране строит, как его отец… Иди с миром, ждут они тебя там.

Он проехал мимо и в зеркало заднего вида не посмотрел. Но всю дорогу в машине стоял тонкий аромат цветущей сирени. А утром на ветровом стекле, с внутренней стороны, лежал один-единственный, идеально белый, ещё росистый лепесток.

С тех пор призрак Белой Женщины больше никто не видел. Да и она никому и не мстила никогда. Она просто не могла найти дорогу домой, потому что дом — это там, где тебя ждут, а её никто не ждал кроме этой дороги, которая навсегда забрала её саму.

Рана, зашитая чужой плотью

Тень была ненастоящая. Она падала от уличного фонаря, но отрывалась от асфальта и ползла по боку такси, как жидкая смола. Я смотрел на неё, а таксист с кепкой, втиснутой в бритый затылок, смотрел на меня.

— Лефортовский, — сказал он, не спрашивая. Просто констатировал факт, как врач диагноз. — В полночь. Я до въезда. Дальше — нет.

Голос у него был плоский, выгоревший. Не усталый, а опустошённый. Уже на месте я молча отсчитал купюры. Деньги в Москве 2014 года пахли иначе, чем в 2004-м. Слаще и гнилостнее, как будто в бумагу вплавили микрочастицы разложившейся надежды.

Инга сидела, закутанная в чёрную шерстяную шаль, хотя в машине было душно. Она смотрела в окно, но я знал — она видит не ночной город, она видит салон автобуса, голубой свет за его окнами и тени, тающие на глазах. Наши лица за десять лет не изменились, мы были живыми памятниками самим себе. Памятниками, которые каждую ночь видят один и тот же кошмар: вибрацию двигателя, холодное стекло под щекой и голос, не наш, который шепчет наши имена на языке ржавых петель.

Таксист чиркнул спичкой о шершавую полоску коробка и прикурил папиросу «Беломорканал». Дым заклубился, густой и тяжёлый, как надмогильная плита.

« — Вы не первые», — сказал он. Сказал в сторону, будто разговаривал с дымом, а не с нами — И не вторые. Который месяц подряд — пара. Всегда молодые, а глаза… как высохшие колодцы. Всё из вас вытекло, а вы всё идёте и идете.

— Что с ними? — спросила Инга. Её голос был похож на звук, который издаёт ржавая пружина, если её дёрнуть.

Таксист сделал глубокую затяжку, и кончик папиросы осветил его лицо — жёлтое, обвисшее, с тёмными впадинами вместо глаз.

— С ними? Ничего. Их находят иногда. Сидят в том тоннеле, на обочине, в той же одежде, дышат, моргают и молчат. Внутри — пусто как будто их выключили, а потом… начинают рассказывать про голубой свет, про пассажиров, которые тают в воздухе. Водитель… — он замолчал, затянулся так, что щёки втянулись. — Говорят, у него глаза горели. Не отражением, нет. Изнутри зелёным ядовитым огнём, а рот… он открывал рот, и оттуда лился звук. Не язык, а скрип и лязг. Будто в его горле сдвигаются каменные плиты.

Он повернулся к нам. Его взгляд был тяжёлым, как свинец.

— После того рейса тоннель «заболел». Он теперь живой и злой. Шофёры иногда видят в зеркалах заднего вида этот автобус. «Икарус» горчичного цвета с номером 666. Едет сзади, не догоняет, не отстаёт, а обернёшься — пустота. И еще по ночам… если ветер дует, слышны голоса и смех невесёлый. Такой пустой, как стук костей по бетону. Некоторые клянутся — если в полночь проехать там, увидишь этот автобус и двадцать две тени в нем. Сидят, смотрят вперёд и как будто ищут выход из ночи, которая никогда не кончится.

Он откинулся на сиденье, и тень от фонаря окончательно съехала с его лица, оставив его в темноте.

— Поэтому я и говорю. Не ездите туда.

Мы вышли на дорогу. Ветер нёс с собой запах дизельного выхлопа, влажного бетона и чего-то ещё — металлического и старого. Таксист не уехал, он сидел в машине, и тусклый огонёк его папиросы мерцал в темноте, как единственный глаз циклопа. Он не знал, что мы уже были там, в том странном автобусе.

Ровно в полночь из чёрной пасти тоннеля выполз автобус. Старый «Икарус» горчичного цвета. Его фары были тусклыми и мутными, будто затянутыми тонированной плёнкой. Номер

666 над лобовым стеклом был заляпан грязью, но не случайно — грязные мазки шли строго по цифрам, как будто кто-то старательно, но неумело пытался их скрыть. Двери открылись с сухим, хрустящим звуком, словно ломали кость.

— Последний, — проговорил водитель, не глядя на нас. За рулем сидел мужчина лет пятидесяти, с лицом, на котором усталость выела все остальные эмоции. — Меня зовут Сергей, проходите.

Мы вошли. Воздух в салоне был спёртым, насыщенным запахом пыли, старого поролона и той же сладковатой гнили, что и на деньгах. «Забвение», — подумал я. Именно так пахнет забвение.

— Всё повторяется, — прошептала Инга. Её пальцы вцепились в мою руку. Они были холодными, почти неживыми.

Автобус дрогнул, развернулся на кругу и снова покатил в тоннель. В этот момент мир разошёлся по швам. Жёлтый свет в салоне не погас. Он схлопнулся, будто его проглотила тьма извне. Стены тоннеля перестали быть параллельными. Они задышали. Кафельная плитка вздымалась и опадала, как рёбра спящего гиганта. Тени от фар вытянулись в длинные костяные щупальца и заскребли по потолку — сухой, мерзостный звук, похожий на стирание памяти.

Двигатель не гудел, он бормотал. Низкое, пульсирующее бормотание, исходящее не спереди, а снизу, из самого бетона, будто мы ехали по гигантской живой артерии.

— Что за хрень?! — голос водителя — еще обычного человека, был пронзительным и полным чисто человеческого ужаса. Он ударил по тормозам, но педаль провалилась в пол без сопротивления. — Не останавливается!

« — Он и не остановится», — сказал я. Мой собственный голос поразил меня своим спокойствием. Это был голос человека, который уже видел финал фильма. — Этот автобус уже давно едет и никогда не перестанет ехать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.